Куда делся «совок», когда исчез Союз

Татьяна Никитична Толстая

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Фонд Гайдара
Saturday, April 21st, 2012

Мы публикуем видео и стенограмму второй лекции из цикла «Гибель империи», в которой Татьяна Толстая рассказала о том, как был устроен советский быт, и куда делся «совок», после того, как СССР перестал существовать.

- Т. Н. Толстая

Т. Н. Толстая
Куда делся «совок», когда исчез Союз

Филипп Дзядко: Меня зовут Филипп Дзядко, я главный редактор «Большого города». Мне предстоит исполнять солидную роль модератора сегодняшнего вечера. Я не очень представляю, что это такое, и очень надеюсь на помощь. Если у вас будут по ходу лекции возникать какие-то вопросы, передавайте их, пожалуйста, дамам, которые стоят здесь и здесь. Только огромная просьба писать большими печатными буквами. Наконец я передаю слово Татьяне Толстой. Ура!

Татьяна Толстая: Добрый вечер. Я бы всё-таки не назвала это дело лекцией, потому что это слишком технический формат и занудный. Как мне представляется, это не может быть лекция, а скорее какие-то разрозненные мемуары. Идея, насколько я поняла, попробовать рассказать людям, которые не помнят эти времена, в которые я жила — 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, когда эта самая советская империя существовала, ковыляла как-то и в результате вроде погибла, хотя это ещё вопрос, погибла она или нет. Погибла в определённом смысле, а в другом она живее всех живых, а в другом она живее всех живых.

Так вот, в чём проблема. Люди моего возраста имеют разные воспоминания: кто-то хорошо помнит, что было, кто-то помнит пристрастно и даже помнит то, чего не было. Я очень много встречала людей, моих ровесников, которые имеют совершенно другой набор воспоминаний. Я хорошо помню, сколько получали младшие научные сотрудники университетов, институтов, сколько я сама получала, когда работа младшим редактором в научной редакции. Это всё колебалось в районе 100 рублей. Вам, молодым, 100 рублей, наверное, ни о чём и не говорит, а можно было бы поговорить о том, что такое были эти 100 рублей и что на них можно было купить. И вот меня подвозил один левак, шофёр, мы с ним разговорились. У него совершенно странные представления оказались. «Вот, хорошо жили при советской власти: 980 рублей я получал». Я говорю: а где же Вы работали, на каком производстве, уран добывали? «Нет, я был обычный инженер». А не врать? Обычный инженер получал от 120 и до 200, может, как-то добивал, если он начальник цеха. «Да нет, я обычный, то, сё». Короче говоря, мужик ко всему ноль приписывал. И все его воспоминания были мечтой, опрокинутой в

прошлое. Так что если вам такой попадётся, то опирайтесь на эти сведения. Что вы можете подумать: «Вот, один человек правду сказал, а все остальные нам врут». Или была у нас в «Школе злословия», давно, правда, такая известная женщина Сажи Умалатова, упёртая коммунистка. Она нам рассказала, что при советской власти жилось замечательно, можно было пойти в магазин и купить себе всё-всё-всё — ну, например, ковры. И мы смотрели на неё, не понимая: это она сошла с ума или просто она так хорошо жила? Она была депутаткой от Чечни, у неё были талоны в какую-то волшебную секцию ГУМа, которые отоваривали депутатов Верховного Совета, республиканские точно. Там можно было купить сапоги, ковры, много чего, шубы, шапки. Шапки — это было вообще особое дело. Какие же это были годы… А, это были 80-е, то есть ещё Советский Союз не развалился, было «узбекское дело». Какой-то председатель совхоза или исполкома, какой-то очень крупный товарищ, имел 300 шапок и зарыл их в землю. Поскольку он их воспринимал как золото своего рода, то ценность надо зарыть — 300 шапок!

Я хочу сказать, что молодые люди — становясь всё старше и старше, я становлюсь окружена всё более и более молодыми людьми, они подрастают как сор какой-то — ничего не знают. Людей моего возраста это смешит и иногда раздражает. Не понимают, что было и что стало. Кроме того, когда я сижу в Интернете и читаю какие-то сайты про историю (там бывают интересные фотографии, статьи, освещаются какие-то события, мне дотоле неведомые), я периодически нападаю на ностальгирующих по советской власти. И добро бы они ещё вспоминали молодость, более чистый воздух или более экологическую пищу (чего тоже не было: и воздух был грязный, и пища была говном, да ещё бракованным). И вот они мечтают, и они озлобляются, мечтая, и они ненавидят всё вокруг, и их это страшно угнетает. Туда, туда, где девушки белозубые хохотали (девушки, пригнанные для фотосъёмок постановочных). «Смотрите, какие девушки здоровые, комсомолки» — ну, понятно, приезжает ГДР-овский фотограф, ему выводят здоровых девушек с зубами для того, чтобы они хохотали и брызгали водой. А на самом деле всё было совсем не так.

Но как именно было — тоже вопрос. Сказать, что жизнь была какой-то мрачной, тоскливой, и все только смотрели в окно, по которому стекали капли дождя, а по нашим лицам стекали капли слёз, — ничего подобного. Очень хорошо при этом жили. Человек — поразительно приспособляющееся существо. Единственное — были смехотворные и раздражающие проблемы почти во всех областях жизни. Я уж не говорю о том, что нельзя

было поехать за границу: в 70-е и 80-е поездки за границу были практически невозможны, а очень хотелось. Где-то в конце 80-х у многих появились какие-то странные мысли: может, вообще ничего нет, может, Америки никакой нет, а это нам просто так говорят, кино снимают… То есть уже пошло такое лёгкое сумасшествие. И правда, думаешь: вот Парижа же нет? Он в книжках, он в начале XX века весь кончился.

Дзядко: Простите, что перебиваю, но момент отъезда воспринимался как прощание с человеком навсегда.

Толстая: Конечно. Метафора Америки как страны, где заходит солнце, а стало быть, там страна мёртвых, была очень сильна. Связь с людьми, которые уехали: не было телефонной связи напрямую. Кто постарше — помнит, а молодые — сделайте усилие и представьте, что нельзя было взять и сделать междугородный звонок. Это надо было получать специальный вызов, идти на центральный телеграф, и там в какое-то сложное время тебя могли соединить, а могли и не соединить. На домашний тебе никто бы не позвонил, потому что станция не соединяла. Это соединение появилось после 1991 года. Я в 1991 году сидела в Америке и позвонить домой практически не могла, не понимала, что здесь происходит. Связь уже вроде бы стала налаживаться, в 1989-1990 начались какие-то послабления, но в 1991 году её опять зажали — невозможно было узнать, что происходит. Я была там одна из немногих русских в городе Балтиморе, и в 1991 году ко мне приехали сиэнэнщики и просили, чтобы я при них изображала волнение и звонки домой. Изображать не было нужды — я и так волновалась и звонила домой. Они говорили: Вы набирайте, набирайте. А я отвечала: а чего набирать, он не может соединиться! А они не могли понять, что он не может соединиться, им это казалось совершенно невероятным. Вот люди умерли, но вы же можете вызвать бабушку — давайте, вертите, вертите стол, зовите бабушку. Вот это было то же самое ощущение: уехал — значит, умер. А если посылают письмо — так в письме ничего не напишешь. Сложными путями передаются письма, там всё не прямым текстом. И эмигранты, которые уехали и очень плохо жили по началу, народ жил очень бедно, многие из них чувствовали, что если они будут, как они ужасно живут людям, которые остались жить в Советском Союзе, то это будет как-то неприлично. В Советском Союзе же всё равно хуже, а они бедные, голодные, но всё равно на свободе. И была такая манера, глупая, но понятная, фотографироваться, прислонившись к чужому автомобилю — типа ОК, вот, уже приобрёл. Да ничего ты не приобрёл, в одной маленькой комнатке жили две семьи. Петя Вайль покойный, царствие

небесное, много смешного рассказывал о том, как они бедствовали. Много весёлых и хороших книг они с Генисом написали о своих приключениях в эмиграции, о русской культуре, об общемировой культуре, это великие путешественники и великие кулинары были. Так вот, Петя Вайль рассказывал, что голод доходил до того, что он воровал в магазинах. «Пошёл в белых брюках, украл кусок мяса, сунул в карман. Только выходя через кассу, посмотрел на себя: выгляжу как-то странно — мясо потекло через левый карман». Такие вот были вещи, да.

Однако назад, к нашим баранам. Поехать никуда было нельзя. Это отдельный сюжет о том, как ты пытаешься, думаешь: ну вот, например, в Болгарию. Курица не птица, Болгария не заграница, это известно, но всё-таки. Пытаешься купить туристическую путёвку: Болгария, ГДР, Чехословакия до 1968 года. Пытаешься это купить — ты должен проходить какие-то организации: партком твоего института, если ты где-то в институте работаешь или учишься (если студент — по-моему, безнадёжно), в райкоме комиссии, ещё где-то. Тебя обязательно зарежут на одной из этих стадий, тебе пройти не дадут. При этом ты должен сдать анализы крови и мочи, ещё какие-то энцефалограммы — зачем, неизвестно. Тут начинался абсурд: сидят пенсионеры в этой комиссии, ты приходишь, и пенсионеры тебя допрашивают: «А каково международное положение в Уганде?». «Ужасное». Эти поездки за границу существовали между 1956 годом и 1968-м. Это была короткая оттепель, после 68 года уже ничего никак. Мне не удалось ни разу поехать за границу до новых времён, потому что после чехословацких событий это всё накрылось медным тазом. А мои старшие сёстры ещё где-то в 58 году были в Германии и Чехословакии. Казалось, что это полёт на Марс. Они тоже проходили комиссии, и вот сестра Катя рассказывала, что ей достался такой вопрос: какое международное положение в какой-то стране, я не знаю, в какой. И поскольку она понятия не имела, где эта страна находится, то она так сделала: «Ох! Ужасно!». Ну, девушка сочувствует — пропустили девушку.

Итак, про заграницу забудьте. Это для души — за границу поехать. А жизненно важные вещи — это, конечно, жильё, еда и одежда. И вот эти три столпа, на которых держится жизнь, особенно женская, потому что мужчины в магазин особенно не ходят. У Вас в семье ходят?

Дзядко: Бывает.

Толстая: Бывает, но они что-нибудь не то сделают в магазине.

Дзядко: Вы обещали рассказать, кстати, про списки в

магазинах.

Толстая: Сейчас-сейчас, всё расскажу. Я хочу сказать, что мужчины это себе плохо представляют. Всё надо купить, купить надо разумно, потому что есть дети, которых надо кормить, купить надо с запасом, с учётом того, когда приходят гости, чтобы из ничего сделать что-то — как Христос, дать всем пять хлебов — и вот народ сыт. И всё остальное тоже на женщине, мужчине доверяется только сдать посуду.

Дзядко: И ничего не изменилось в этом смысле.

Толстая: Понимаю, но изменился ассортимент, потому что теперь что происходит сейчас с мужчиной на рынке? Во-первых, он приносит вот такую морковку, потому что видя мужчину, продавщицы (они там тоже не дуры, на рынке) подсовывают ему неходовой товар, потому что понимают: большое принёс, хорошее — это же хорошая морковка, раз она большая! Потом, он берёт овощи — картошечки два, три кило. Он берёт не глядя, ему подсовывают гниль. Я помню, стою в магазине, мужик передо мной берёт селёдку, уходит, я говорю: «И мне селёдку». Она говорит — ?! Я говорю: «А как же Вы ему дали?» Она: «Мужчина…». То есть то, что дома у него есть женщина, которая тоже эту селёдку будет есть, не учитывалось. «Не бери эту селёдку, сестра» — такой был её месседж.

Вот есть улица Волхонка в Москве, она у разных людей ассоциируется у людей с разными вещами. Для одних это Пушкинский музей, конечно, для других — Институт философии, для третьих — в этом здании, в Институте философии, жил Пастернак, один из его адресов. А для меня Волхонка — это место, где поздним ноябрьским вечером, в сгущающихся сумерках и заметаемая снежной крупкой, я шла с двумя малыми детьми и вдруг вижу, что в магазине дают гречку. И человек всего 15 в очереди, ничего страшного — какой-то час постоять. А самое главное, что её дают 2 кг в одни руки, а у нас этих одних рук три, значит, 6 кг гречки я сейчас получу! Это же можно зиму перезимовать на 6 кг гречки, это неслыханно, я никогда этого не забуду. Какое счастье, что я взяла двух маленьких детей с собой. А я их волочила как раз в художественный кружок в Пушкинском музее — да пропади он пропадом, всё равно ничего хорошего из этого кружка не вышло — их отучили рисовать навсегда! Но я их держала за руки: вот они, дети-то! И хотя стояли женщины, у них тоже дома были маленькие дети, но предъявит-то было некого, а я предъявила. Эти вещи не забываются никогда, и я никогда не забуду улицу Волхонку и счастье, которое мне на ней открылось.

Дзядко: Браво. Про жильё Вы обещали рассказать.

Толстая: Сейчас продолжу про еду, потом про жильё, а

может, буду перескакивать. Про жильё — это надо расчехлить новые гусли и начать их перебирать. С едой такая была вещь: были столы заказов. Стол заказов — это было такое место при магазине, где ты мог купить дефицитный продукт. А дефицитным продуктом считалась, например, югославская ветчина, потому что она делалась из мяса, видимо, потом та же гречка — страшный дефицит, потом плохой, советский растворимый кофе и баночка сайры — очень ценная вещь. И для того, чтобы это всё приобрести, выдавали либо праздничные заказы на работе, либо надо было купить в столе заказов. Но там был ассортимент победнее, потому что побогаче — это стол заказов для организаций. Например, для Союза писателей, куда я тоже проникла как член Союза писателей и как внучка А. Н. Толстого и получила даже два талона на семью. поэтому я брала заказы себе. Вот глаз мой упал на растворимый кофе. Его нельзя было просто так приобрести: в нагрузку к нему нужно было купить несколько неприятных, траченных мышами, с жучками внутри, продуктов. Какую-нибудь крупу ячневую, например — не знаю, что это за ячневая крупа, из чего она делается, но есть это было невозможно. Но тогда будет кофе. И думаешь, сколько денег, сколько чего, иногда покупаешь. Если получаешь от организации, то это более-менее ничего.

Я помню, что всегда в подвалах магазинов располагались эти выдачи заказов, и, получив эти талончики от Союза писателей, я могла раз в месяц, по-моему, принести оттуда продукты. И вот поразительная вещь. Пошла я как-то со своей сестрой Катей, у неё тоже был такой талончик, она же моя родная сестра, мы все были блатные — у нас дедушка был писатель и удачно умер, оставив нас с этими талончиками, — пошли мы туда, и там был какой-то шикарный заказ. Там была — не поверите — копчёная осетрина, которой в природе не было, а в заказах она была. И вот мы смотрим — в каждом заказе осетрины кусок, ещё что-то. Взяли мы всё это, а это всё денег стоит, мы за это заплатили. И вот какая-то женщина, мимо проходившая, смотрит в это окно (а это окно было почему-то в самом столе выдачи заказов), обычная женщина, усталая. Мы сейчас пойдём со всем этим , а она будет продолжать как голодный ребёнок это ждать. Мы говорим: вот Вы хотите? Берите наш заказ, мы Вам продаём, нам одного хватит. Она достаёт деньги и у нас этот заказ покупает. Так продавщица из этого окна высунулась и стала на нас кричать: «Вы что здесь хулиганите, что вы делаете, вы как смеет это делать?!» То есть эта еда талонная предназначалась для особых людей, с белыми крыльями, которые немного светятся, а всякий простой разве может есть эту еду? А она: «Сейчас милицию позову!»

Можете ли вы себе это представить? Вот этот советский сволочизм, такие гадины, особенно гадины, которые сидят на сундуках с говном, встречаются довольно часто. Я их встречала в самых разных областях. Обычно это были продавцы, особенно продавцы на дефиците: велено вам есть — вы и ешьте, а другим не давайте. Или вообще желание унизить какого-то человека несчастного, замученного, усталого, простого. Вот прямо садистки сидели в учреждениях. Например, в сберкассах: если работать в сберкассе медленно, то люди не успеют, значит, они свои два часа зря стояли. Это тоже была такая пытка, и эта пытка применялась садистками-кассиршами по отношению к народу. Но с этим тоже можно было бороться, может, потом расскажу.

Жильё. *(Пауза, смех в зале)* Два города, которые я знаю, это Ленинград и Москва. В Ленинграде всё жильё было коммунальное, там даже сейчас 46% жилья. Может, стало 40, но никак не меньше. В Москве сейчас рынок 3%, то есть коммунального жилья тут почти нет, и по сравнению с Ленинградом Москва казалась городом просторных квартир — все эти хрущобы, пятиэтажные дома, но зато своя квартира, своя — это же замечательно. Коммунальное жильё — это вообще особый разговор. Я никогда не жила в коммуналке, но у меня была большая семья — это была сама по себе коммуналка. Но все люди, которых я знала, жили в Питере. Я выросла в Питере, прожила там первые 25 лет своей жизни, и коммунальные квартиры — это были квартиры, в которые ты приходишь к кому-то в гости. Были разные причины этой коммунальности: были огромные квартиры, построенные в 1914-1915 году. Был строительный бум перед Первой мировой войной, построили большое количество больших, дорогих квартир — 8 комнат, например. И когда всё это уплотнили, то люди жили «семья-комната». А когда (пропускаю длинный период) была Вторая мировая война, то Питер был сильно разбомблен, и людям было негде жить. Поэтому они перебирались в те квартиры, которые оставались целыми. Там кризис жилищный был особенно сильным, а в Москве этого не было, потому что при Хрущёве было построено довольно много пятиэтажек, уже расчищались квартиры каждый год. И тем не менее отдельная квартира — это было большое счастье.

Люди жили семьями, получить квартиру было вполне себе сложно. Вот вы получали квартиру, пускай, вот у вас есть какая-то маленькая квартирёночка у чёрта на рогах, а вам хочется в приличном месте. У меня была квартира — когда у меня появились двое детей, то с помощью разных хитрых блатов получили мы трёхкомнатную квартиру. Мы были прямо вот

Абрамовичи — трёхкомнатная квартира в Медведково, 38 метров. Заелись, буржуи! И кухня 8 метров — это же что-то нечеловеческое. Но далеко. То, что там стены карандашом протыкаются, понятно, что забыли стенку закрыть между нашим сортиром и соседским. Там была у унитаза дверца такая, ты открываешь её — там трубы проходят, но вместо труб ты видишь чужую квартиру. Мы слышали истошные вопли соседей, они кричали на детей: «Сию минуту иди смотреть телевизор!». Потому что они мешали жить, дети, должны были уйти и смотреть телевизор. То, что потолки низкие, это неважно, что окна вываливаются, это неважно, что полы горбылём, это неважно, хотя не линолеумные, а из плитки. В общем, счастье, а не квартира. Нам очень хотелось в центр.

Я на работу из этой квартиры ходила так. До метро (не было метро там, «Медведково» построили ещё нескоро) надо было сквозь глину пройти, потому что там глина текла, там глинистая почва, в Медведково, сесть на автобус, доехать до метро «ВДНХ» и там уже сделать вид, что ты цивилизованный человек, и ехать на работу. Работа была на Кузнецком мосту, в издательстве. Что делалось с утра: с утра ты вставал, надевал на сапоги пакеты целлофановые (а пакеты-то — дорогая вещь, так не найдёшь), и в этих пакетах — через глину пешком. Так многие делали. Потом эти дамы в хороших пальто и в этих страшных пакетах залезали в автобус и ехали. А потом уже на «ВДНХ» это всё сдиралось и выбрасывалось. Я вспомнила это, когда в 90-х годах увидала одну остроумную старуху. Я прямо узнала сестру по молодости. Она была какая-то совсем одичавшая. Вот она шла через дождь и грязь, сделав себе галоши из большой бутылки из-под «Кока-Колы»: она её разрезала вдоль, привязала и осторожно шла. Я подумала: молодец, бабка, не пропадём, йес!

Хотелось, значит, переехать в центр. Я, пожалуй, лет десять посвятила попыткам это сделать. Чего там только не было. Нельзя было купить квартиру, можно только поменять. Когда-то продавались кооперативные квартиры, но это 50-е годы, а потом все стали большие и умные, и купить кооперативную квартиру стало исключительно непросто. Квартирный вопрос всегда существовал, но сейчас это вопрос денег, а тогда это вопрос отсутствия площади. Надо было квартиру поменять. Но поменять напрямую — где вы найдёте идиота, который бросит свою центральную квартиру и поедет жить туда, где жила я, в Медведково? Значит, надо найти человека разводящегося или несчастного, поменять квартиру на две однокомнатных, эти две однокомнатных меняем на однокомнатную в другом районе плюс комнату где-нибудь в Звенигороде, потому что там всё равно

старуха с ума сошла и не понимает, где она живёт. И цепи выстраивались до десяти пунктов. Если эта цепь не поломалась, то ты менялся. Если же кто-то один капризничал, из этой степи выпадал, то рушилась вся цепь, люди рыдали, несчастия всякие были. Можно было, конечно, приплатить, чтобы всё это ускорилось и улучшилось, разным чёрным маклерам, а такие существовали. Но для этого нужны были деньги, а деньги непонятно, где можно было взять. Если ты певец или, наоборот, поехал на какую-то стройку, то можно было заработать деньги, но тихие интеллигенты вроде меня деньги могли заработать переводом разве что. Так ещё поди заключи с издательством договор, зачем он им? Поэтому вопрос о деньгах как-то отпадал. И вот мысль 10 лет крутилась — как это всё крутилось, каким образом переехать. И вот моя сестра, всё та же, любимая сестра старшая, разузнала, что в одном доме на Полянке… У неё самой там было списанное помещение мастерской, она была художником. Там были крысы и туалета не было. А соседняя квартира, как она узнала, тоже вросшая в землю, но квартира: две комнаты списанные, а две ещё теплятся, и в них живут два старичка. И вот старичок лежит парализованный и ходит под себя, а старушка, его сестра, очень его любит, но мучается и страдает, что в доме нет горячей воды, и она кипятит все кастрюли и котлы, чтобы стирать бельё своему брату, который уже совсем плох — ветеран войны. И вот мне сестра говорит: «Смотри, этот старичок рано или поздно умрёт. Его сестра всё время говорит: прибрал бы его Господь, я бы квартиру поменяла, а себе бы однокомнатную справила. Внимание: если старичок помрёт, то у тебя есть шанс». И однажды она мне говорит: «Всё, ура, приезжай». Приезжаем — крышка гроба такая нарядная, красная, стоит. Старичок умер. Мы пролили фальшивую слезу, пообнимались со старушкой и сделали переезд. Старушка была чрезвычайно счастлива. Вариант, который мы ей нашли, нас самих ужасал: из окна 13-метровой однокомнатной квартиры было видно кладбище, а стены были такие тонкие, что можно было слышать, что говорят соседи. И как-то было неудобно старушке такой вариант предлагать, но старушка, как оказалось, ровно этого и хотела, она обнимала нас и благодарила. Она была совершенно глухая, поэтому ей было всё равно, что говорят соседи, она мечтала жить окнами на кладбище, потому что она всё ждала, когда её Господь приберёт, и ей приятно было на это смотреть. Главное — найти нужных людей в нужном месте.

И вот совершился очень громоздкий и сложный переезд. Я въехала в эту чудовищную квартиру. Пол в ней был наклонный вот так — мы специально клали мяч и смотрели, как он катится.

Две комнаты были списаны, всё было в дырках, как ночь — выходили крысы, я с визгом вскакивала на стул и швабрами от них отбивалась. Было довольно страшно. Мне писали в окно, били ногами, поставили мы решётки, но против писания это немножко не спасает. Но я жила в центре, я своего добилась. Я была абсолютно счастлива, всё было замечательно. И вот прошло несколько лет — я очень была действительно довольна этой жизнью — прошло несколько лет, я всё вспоминала про старичка, который так удачно умер, и приходит открытка от какого-то профкома, какой-то советской организации, обращённая к этому старичку. «Дорогой ветеран Михаил Никитич, подошла Ваша очередь на стиральную машину „Фея“. Вы можете получить эту машину в таком-то месяце, всё прочее». И я подумала: бляха-муха, вот ветеран, он был молодой, воевал, контузило его, к старости парализовало, он выжил из ума, последние 10 лет он лежал и какал под себя. И его несчастная сестра, любя его,не сдавала его в дом призрения, а каждый день стирала, кипятила это бельё, потому что в этом жутком доме не было газовой колонки, не было ничего. И вот он умер, всеми забытый, кроме этой несчастной старушки, своей сестры. Прошло лет пять, и вот «Фея», блять, явилась к нему наконец, советская фея — здравствуй, ветеран! Вот это жильё при советской власти, просто пример.

Как я эту квартиру ремонтировала — это тоже отдельный разговор, потому что там же жить было нельзя, её надо было ремонтировать. В двух словах: ремонтировала я её так. Стала разузнавать, сколько стоит такую квартиру привести в немножечко приличный вид — выровнять полы, поднять эти лаги (лага — это бревно, которое проходит через всю квартиру), постелить паркет вместо досок, побелка, то, сё. Государственное учреждение насчитало мне такую сумму — условно говоря, я получаю 100 рублей, муж — 130 рублей, а насчитали мне 6 тысяч. Как — на панель идти, в рабство? Мне говорят: надо найти частников. А куда идти, я не знаю, где эти частники. Нашли мне этих частников — такая лихая бригада, пьяная-пьяная. Они всё время говорили: «Это Лермонтов сделает! Это Лермонтова надо спросить! Лермонтов отвечает!» Я думаю: странно, обычно говорят «Пушкин ответит», а у этих почему-то Лермонтов. А оказалось — правда, был у них начальник Лермонтов. Я в жизни не встречала Лермонтова, а вот он в прорабах ходил. Ну, надо было достать плитку, обои, и эти лихие люди мне говорят: сейчас поедем за плиткой и за обоями. Я говорю: а куда мы поедем? «Увидишь, в 5 утра будь готова». Они за мной заезжают на какой-то «Газели»: «Поехали». Лето, воскресенье, тихая Москва, никого,

чудно, машины уже прошли, всё полили, тишина такая, липы-тополя. «Щас увидишь» — и где-то в центре, на Мясницкой, подъезжают, открывают ворота, заходят, там какой-то складик. Говорят: «Выбирай плитку, сетку тебе надо?» А я не знаю. «Берём!» Набрали кучу большую. «Давай, тащи, помогай!». Я тащу, помогаю, потом говорю: «А это что, где мы?» Они говорят: «Да это склад военной прокуратуры». Мы ограбили московскую военную прокуратуру, я клянусь! Пока прокуроры не пришли на работу. Вот как происходили эти частные вещи. Ну и я даже гордилась — оказалось, это очень просто и приятно, грабить. Это, конечно, пикантно — ограбить прокуратуру.

Дзядко: Бригада Лермонтова и Толстой ограбили прокуратуру.

Толстая: Да, литературная такая бригада.

Дзядко: Я хотел ещё вот что спросить: при этом эти удивительные квартиры были центром жизни, потому что больше нигде собираться возможности не было. И это отдельный сюжет.

Толстая: Не было площадок вообще. В сквере можно было собраться, в шахматы сыграть, или дома.

Дзядко: На складе прокуратуры, как мы узнали. Мы недавно делали огромный номер «Большого Города» про культуру московских кухонь со своими законами, своим языком. При этом они все, хотя это была единая культура, насколько я понимаю, внутри были довольно существенные расхождения. Так?

Толстая: Наверное. Я не знаю. Я думаю, что были разные тренды и разные моды. Одно дело — например, кухни 60-х, другое — 70-х, третье — 80-х. Обсуждались разные вещи, это были вече и форумы совершенно разные. В 60-х это были более спортивные кухни, тогда люди увлекались альпинизмом и лыжами. Или байдарки разбирали. Представьте: небольшая квартира, одна комната проходная, другая дальняя. Они байдарку разложат и смотрят — течёт или не течёт, тазик под неё подставляют. И если жена не так увлечена этим идиотизмом как муж, то она с ним разводится рано или поздно. Приехали его спортивные друзья, крепкие, вонючие — и куда-то на север. Очень полагалось любить Север, туманы, шхеры, скалы всякие. А в 70-е нет, уже пошла какая-то идеология: кто уехал, кто не уехал, кто подпольную литературу достал. А в 80-е все уже вслух просто всех кляли. Только после того, как пришёл Горбачёв, немножко глаза открылись. Весело стало — до невозможности. Лучшее время, лучшее. У меня племянник — три года, помню, на даче все сидят, телевизор смотрят. Там сирень, пионы цветут — всем наплевать, все смотрят телевизор. И входит маленький, трёхлетний: «Кого ещё сняли?» Хорошее было время.

Дзядко: Вот эта разница между десятилетиями как чувствовалась? Это же не календарная история.

Толстая: В 1968-м, по моим ощущениям, закончились 60-е. Я смутно помню первую половину 50-х, лучше — вторую, я помню какой-то перелом, который случился между 50-ми и 60-ми. Я его помню, потому что я пришла в школу и увидела в каком-то году (может быть, это было 1960 год), что учителя абсолютно поменяли стилистику. До этого у нас завуч была омерзительная, жуткая тётка, которая только орала на всех. Она была в синем казённом платье, как преподавательницы Смольного института по описаниям смолянок, и у неё были волосы в корзиночку заплетены — то, что можно видеть на фотографиях в «Огоньке» 50-х. И вдруг мы приходим в школу — у них у всех уже бабетты, все дела, и они уже иначе разговаривают. Что с ними случилось, я не знаю, но они уже не орут на всех всегда, а как-то спокойнее говорят. Для меня это был водораздел между 50-ми и 60-ми. А в 68-м году начали закручивать все возможные гайки, которые временно были отпущены. До 68-ого в спецшколах английских (а я в такую школу поступила к 8 классу) ученики старших классов на две недели ездили в Англию, а те, кто учил французский, ездили так же по обмену во Францию. Вот это в 1968 году закрыли, и до 1986 всё было нельзя, на всё было «нет», всё было завинчено и закручено.

Дзядко: Отдельный сюжет — охота за тем, чего нет: за книжками, за музыкой. Вот как это происходило?

Толстая: Один пример. Одежды нет, так? Одежду можно достать либо у спекулянток, была целая порода спекулянток. Как спекулянтки работали…

Дзядко: А как они выглядели?

Толстая: Да как обычно, как я. *(Смех в зале)* Люди как люди. Это были такие рисковые торговые работники, которые входили в преступный сговор с работниками торговой базы. Насколько я знаю, в Питере… Вот почему воры нам милее, чем кровопийцы: потому что кровопийцы продолжают жизнь, а воры её всё же двигают. Поразительная вещь: торговля есть воровство по какому-то большому счёту, потому что ты обязательно набавляешь цену, ставишь какие-то условия, твоя цель — отдать вещь не в соответствии с её ценой. Но это жизнь, она так устроена. И если бы не существовало бы повального воровства в Советском Союзе (это воровство и по объёмам было меньше, чем сейчас, и по возможностям), то мы бы ходили не в звериных шкурах — зверей-то где взять, кошек бы убивали. Вот существовали торговые базы, на них поступают товары. Как устроена эта экономика, это надо книгу Егора Тимуровича смотреть. Эти товары продаются

иностранцам и владельцам специальных талонов через магазины «Берёзка», а также с чёрного хода спекулянтам. Начальник торговой базы этим спекулянткам даёт возможность разнести товары, чтобы приобрести живые деньги, «левые».

Дзядко: «Берёзку» я помню с детства…

Толстая: А Вы были в «Берёзке»?

Дзядко: Я не был, родители были, и это был всегда был праздник, когда они возвращались. Расскажите про неё.

Толстая: Да Вы бы сейчас и не заметили её. Это был магазин, в котором, в отличие от всех советских магазинов, есть обувь — правда, есть, есть несколько видов пальто, несколько видов кофточек, рубашек мужских, брюк. Это одежда. Даже книги есть и еда. Но по сравнению с этим магазин «Перекрёсток» — это просто пещера Али-Бабы. «Перекрёсток», с переклеенными сроками истечения товаров, со всей этой гнилью. Там лежали совершенно обычные вещи, просто они больше нигде не лежали. Бедность этих «Берёзок» я даже не знаю, как описать. Ну, шоколадные конфеты, ну, сёмга нарезанная и заклеенная. Вы не заметите. В магазинах не было сёмги, не было шоколадных конфет, в магазине совком можно было взвесить карамель «Подушечка» с повидлом, очень страшную, ирис «Кис-кис» был, тянучка сливочная — она пропала где-то к 70-м. Пряники тульские были всегда, да. Помадка? Нет, сливочная помадка была в заказах, это была дорогая вещь. Она вся белая такая была, и иногда один ряд вдруг коричневой выкладывали — кофейная помадка.

Я немножко вернусь к заказам, но не уйду от воровства. *(Смех в зале)* Поскольку ничего нет, бог с ней даже, с одеждой, хотя иногда и не бог с ней. Вот я вышла замуж в 74 году, и хотели мы поехать в Крым (был май). Я обнаружила, что в продаже вообще нет обуви. Ну, есть валенки и мужские полуботинки, но мне вообще-то в Крым. Босоножек совсем никаких нет. Но и ткани особенно нет: либо чудовищной дороговизны какие-то крепдешины, либо сукно — опять же, из сукна и драпа странно шить летнее платье.

Дзядко: Ковры ещё.

Толстая: Нет, что Вы, ковры не продавались советской властью.

Дзядко: Но по мнению той самой Вашей гостьи…

Толстая: Это по мнению. Ковры советское время нельзя было купить. Если Вы записались в каком-то пассаже и приходите отмечаться каждый месяц, то через три года шансы есть, если только они всю эту пирамиду не обрушат. Их можно было выиграть в лотерею, их распределяли по учреждениям. Значит, босоножек нет. Это был 1974 год, ещё живы были те, кто

бедствовал и голодал в 1919-м. Я стала разузнавать: найдите мне какую-то старуху, которая была без сандалий в 19-м, может быть, она помнит, как из верёвок плести. И старуху мне такую нашли, и она даже могла показать, как они это делали, но проблема была в том, что не было верёвки в магазине. *(Смех в зале, аплодисменты)* Я в каких-то опорках поехала страшных, а ведь только что замуж вышла, хотела-то… Мы гуляли в Коктебеле, там надо было, конечно, больше раздеваться, чем одеваться. Но иногда ходили в горы гулять, и подбивалась какая-то компания. Среди нас была одна женщина, которая была почему-то в розовом летнем плаще. Я говорю: а чё она в плаще-то? Мне говорят: «Ну нет одежды у неё». Интеллигентная женщина — зимний костюм есть у неё, а летние вещи не продавались.

Поэтому нужны были спекулянтки. Спекулянтские вещи были дорогие. Они были, но это всё тоже был вопрос денег. Со спекулянткой созванивались, она приходила, всё приносила. А второй путь — это портниха. Шить нельзя было тоже, это запрещалось, даже нельзя было самообложиться налогом. Просто нельзя было — и всё, это подсудное дело было. Поэтому, когда они шили всё же на машинках, они радио включали и музыку ставили, чтобы соседи не слышали. Всё равно все шили, естественно, конечно.

Хотела я про остроумное воровство. Вот этот стол заказов, все эти пищевые заказы. Как-то раз мой отец шёл по улице. Видит, что перед ним идёт мужик, который много на пальцы набрал полиэтиленовых пакетов полупрозрачных, и в них видно: вот чай со слоном, вот кофе растворимый, ещё что-то — хорошие вещи. И мужик так идёт не спеша. И отец ему говорит: «Извините, а где Вы это взяли?» А тот говорит: «Понимаете, на службе давали, я хапнул. А теперь иду и думаю: зачем мне этого столько?» А отец говорит: «Вам не нужно? Я могу взять!» «Ну я не знаю, ну, берите…» Отец обрадовался и купил у него два пакета. Приходит домой, открывает. Чай открыли — там резанная бумага, кофе открыли — там песок. Ещё были банки консервов, на которых были наклеены бумажки «Мясо», а внутри оказался фаршированный перец болгарский тошнотворный. Вот такое было воровство — на живцы. И шёл этот мужик с пакетами, зная, что его будут спрашивать. Всё было актёрством высшей пробы. Потом был такой известный случай, в Москве это уже крупный пилотаж воровства. Мне девочка одна на работе говорила, что это не слух, а что это точно, потому что у неё мать или родственница работала в прокуратуре и подтвердила, что действительно такое дело было. А именно: вот здесь, на Лубянке, в переходе подземном, всегда были какие-то ларьки и магазины со всякой

дрянью. И вдруг — выездная торговля из ГУМа: ставится прилавок, кассовый аппарат, две недовольные продавщицы, раздражённые, чтобы были похожи на настоящих. И вешается образец — дублёнка, мечта всякого советского человека. И они берут деньги, выписывают чек, и с этим чеком ты должен идти в ГУМ, и там в какой-то секции ты получаешь дублёнку. И что всех поразило — народу с суммой на целую дублёнку оказалось много. Они быстро напокупали, человек 20, всё, дублёнки кончились, свернули аппарат и ушли. Когда люди дошли до ГУМа и обнаружили, что там такой секции нет и добежали назад, уже воров не было. Такие были крупные вещи.

Дзядко: Много вопросов. Спасибо большое за крупный шрифт. Есть вопрос уточняющий — в каком году была история с гречкой?

Толстая: Сейчас посчитаю… В 80-м, плюс-минус полгода.

Дзядко: Есть несколько вопросов, которые можно объединить в один: что было хорошего? А также в него входит вопрос о том, какие были развлечения для молодёжи, и просьба рассказать о советском общепите, кафе, ресторанах.

Толстая: Я не знаю, какие были у молодёжи развлечения. А какие бывают? Собирались, хохотали, играли на гитаре. Танцы были, я помню танцы. В ДК имени кого-нибудь были танцы. Мне это было неинтересно просто. Спорт, по-моему, это мучительство, а не развлечение. Ещё что бывает? Долой все игры, всю технику. Электричка — это разве развлечение?

Из зала: У меня такой вопрос, к книге Гайдара «Гибель империи». Вот как Вы относитесь к тому, что дед Гайдара устанавливал эту систему, отец Гайдара был военным дипломатом советским, сам Гайдар был в редколлегии «Коммуниста» и «Правды», и после 20 лет реформ гайдаровских сегодня у нас 4,5 млн бомжей…

Толстая: Вас поняла. А Вас что-то удивляет в этом российском хороводе? По-моему, совершенно нормальная российская жизнь. Так можно взять любого за отправную точку. Вы говорите: «после стольких-то лет гайдаровских реформ». Да не после этого, а после того, что было сделано с Россией, начинается с прихода татар. Если посмотреть все эти реформы, то они куда-то в одну сторону Россию двигали, а всё остальное разрушали. Говорят, что сейчас 4 млн бомжей, а сколько калек, бомжей, так называемых инвалидов-самоваров было после войны, после лагерей…

Из зала: А можно сравнивать войну за Отечество и обогащение кучки олигархов?

Толстая: Да, сравнивать можно.

Из зала: Отличный ответ. Это глубина Вашего метафизического падения.

Толстая: Это уж очень Вы умно завернули: глубина падения — это я понимаю, но метафизическое падение — это же вне вертикали падения. Это как-то даже красиво.

Дзядко: Друзья, давайте по очереди, а лучше пишите записки.

Толстая: Подождите, это не вопрос. Я очень хорошо понимаю: приятно, сидя в аудитории и накачавшись гневом против жизни — вот где-то сидят олигархи, и при этой мысли моя личная жизнь становится ужасна, даже в первый весенний день (+20, между прочим), вот я прямо вижу, как прыщ воспалился! И как приятно в аудитории крикнуть об этом! Спрашивать меня об этом — да я не знаю, почему олигархи, почему люди прямоходящие, а не на четвереньках. Это выкрик, а не вопрос, я понимаю, что Вы получаете от этого удовольствие. Такое удовольствие получали мы в советское время, потому что при мысли, что где-то сидит член Верховного Совета с их распределителями, где были огурчики из специальных парников, без нитратов выращенные, и апельсины отличались.

Вот был профессор Стеблин-Каменский в Ленинградском университете, вообще говоря — гений и великий человек, жил неплохо. Однажды к нему пришла какая-то дама с ребёнком, а дама была обкомовская. Не помню, по какому поводу она пришла, но она пришла к нему домой. И у неё был ребёнок лет двенадцати, профессор поставил на стол чашечку кофе и апельсин. И мальчик к этому апельсину руку протянул, а мать ему по рукам: «Не трогай, это общесетевые!». Потому что они ели только особенное. Вы можете кричать, возмущаться, говорить про дедушку Гайдара — у меня дедушка ещё почище Гайдара. У меня общий предок, который меня объединяет со Львом Толстым, который, наверное, вам, крикунам, всё-таки нравится, потому что он ел рисовые котлетки и не обидел даже муху, меня объединяет с этим достойным человеком кровавый тиран Пётр Андреевич Толстой, который лично для Петра I вывез царевича Алексея из Италии, после чего они в четыре руки его замучили. И царевич Алексей проклял семейство Толстых до двадцатого колена — вот я проклятая перед вами сижу. Много интересного бывает с дедушками и прадедушками.

Из зала: Что же всё-таки такое «совок»?

Толстая: Попробую так сформулировать. Понимаете, в чём дело: это всё имеет отношение к совковости. Вот был вопрос: «Как Вы воспитывали Артемия, чтобы он не вырос „совком“?» Да никто его не воспитывал! Жили, жили, а не воспитывали. Куда делся

«совок», когда исчез СССР? Да никуда не делся. Если не бросаться словами, а подумать, что мы вкладываем в понятие «совок». Одни люди совковостью называют узость любого мировоззрения — тупое мещанское, крестьянское, мракобесное, охотнорядское, любое консервативное, вязкое, возможно, эпилептоидное мышление. Когда люди засирают лестничную площадку, потому что считают, что их мир кончается внутри квартиры, а снаружи чужой, враждебный мир, куда надо выбрасывать кал и другие помои. Это интересное вообще культурное явление, если культуру понимать как устройство человеческого бытия, бытования. Существует такая культура, это идёт от животных, собака тоже за собой закапывает, но небрежно — никто из животных не старается особо закапывать свои испражнения. А у человека разные культуры по-разному к этому относятся. Существует невероятная чистота телесная, потому что одни считают, что наше тело — это Божий сосуд, что мы должны сохранять его в чистоте. Есть чистые культуры, есть не очень чистые культуры. И в санитарном отношении, в вопросе отношения к другом человеку совок — это очень нечистая культура, эгоистическая, замкнутая и видящая в соседе врага. Неуважение к человеческой личности встречается в различных странах и во многих культурах, но у нас оно очень сконцентрировано и отнесено к понятию «совка». Некоторые просто называют «совком» ужасно дурной вкус в одежде — можно и так смотреть. Над этим смеяться легко, приятно, вы всегда легко можете найти для этого пищу в Интернете — это украинский гламур. Кто раз видел украинский гламур, не забудет никогда.

То есть совок — это очень разные вещи. Это не что-то ужасное, а просто способ обозвать: «Дурак! Совок! Кретин! Козёл!» Говорить надо с определённой интонацией. Вы не можете сказать «Козёл…». Если смотришь футбол, то обязательно: «Козлы!!!». Но они же не козлы, а надо так кричать, чтобы легче эмоции выражать.

Дзядко: В продолжение того, о чём Вы говорите: «Как можно исправить ситуацию с ностальгией по СССР и необходимо ли это?»

Толстая: Как выяснилось, никому нельзя запретить ничего думать, испытывать ностальгии. У человека есть потребность в ностальгических ощущениях, она совершенно реальна. Молодые люди, например, толкинисты, надевают на себя одежды, едут в леса, устраивают там сходки — это ностальгия по чему, по стране хоббитов? Если человек ностальгирует по СССР в том смысле, что он хотел бы вокруг себя создать ту же романтическую чистоту,

которую приписывают СССР, это немножко неправда и немножко даже глупо.

Вопрос «почему так?»: «Ничего не было, даже книги были в дефиците, но читали, а нынче всё имеем, но народ не читает, посмотрите, какие тиражи у классиков. Почему так?» У меня нет ответа на вопрос «почему так», а насчёт того, какие тиражи были раньше, — это вы себе даже не представляете.

Дзядко: «В чём разница между школой, в которой учились Вы, Ваш сын и Ваши внуки?»

Толстая: А я не знаю, потому что я не следила за тем, что происходит в школе, где учатся внуки. Школы разные. Я училась в двух школах, одна была вполне ужасная, вторая — очень хорошая. Это зависело не от времени, когда я училась, а от состава учителей, от уровня этих людей. По-моему, сейчас происходит то же самое: есть школы хорошие, а есть ужасные. Но я больше об этом не знаю, поэтому мне тяжело сказать. Есть основное, что было очень сильно в советское время, это неуважение к личности другого человека. Наверное, это сейчас тоже в школах присутствует, но в наше время это было очень заметно. Но я не в самое плохое время училась — это была «оттепель». А вот до этого, говорят, ужасно было.

Дзядко: «Откуда брали полиэтиленовые пакеты? В то время они, кажется, были на вес золота»

Толстая: Нет, они в моё время стоили 3 копейки, если не ошибаюсь. Цена менялась: было и 3 коп., и 10. Был такой автор «Литературной газеты» Анатолий Рубинов, у него книжка вышла — я забыла, как называется. Он очень подробно описывает именно быт советский, в частности — и пакетики. Не знаю, пошла ли статья о пакетиках в книгу, которую я читала, но хорошо помню эту статью. Там речь шла о том, что это чудовищный грабёж населения, потому что пакет стоит одну миллионную копейки, а нам продают по 3 копейки. Это способ государства откачивать у населения деньги с помощью этих пакетиков. Пакетики были, но их надо было покупать. А Вы не хотели платить 3 копейки. Прикиньте, если у Вас зарплата 100 рублей, и это всё: сапоги импортные, которые можно носить, стоят 60. Я на руки получала 98, 103 у меня был оклад, остальное шло в налог. Сапоги нужны, их купить можно. Дальше ты живёшь как хочешь и выкручиваешься. Понимаете, туда 3 копейки, сюда 3 копейки — это довольно ощутимая вещь. Поэтому пакетики стирали и сушили, снова использовали много раз. Но люди и сейчас так делают, потому что одно время пакеты в том же магазине «Перекрёсток», не к ночи будь помянут, давали так. А потом был какой-то кризис очередной, и они стали стоить 3 рубля (обратите

внимание, ничего не меняется — три рубля). А в некоторых магазинах норовят и по 10 продать. Это те же копейки, что были в советское время. А иностранные пакеты, на которых что-то было напечатано, был не на вес золота, но его можно было зарывать, как эти шапки узбекские.

Записка: «Насколько различаются жизненные ценности в период Вашей молодости и жизненные ценности, навеянные Западом нынешней молодёжи?»

А вот какие ценности навеял Запад? Если на меня веяли чем-то советским, то я отвеивалась в ответ. Я в школе училась во время «оттепели», время нестабильное, когда учителя сами не знали степень дозволенности, чтобы засирать нам мозги. Поэтому можно было сопротивляться, что мы и делали. Чем-то это напоминало свободу конца 80-х, хотя конец 80-х был гораздо свободнее. В моё время и в 70-е, когда мои дети росли, продолжался какой-то бессмысленный культ смерти. Школа создавала культ смерти: ты должен был постоянно петь про гибель, как скакал-скакал и погиб, зарубили мальчонку, повесили, сожгли… Дети нервные, конечно, вырастали неврастениками, а кто был крепок психикой, вырастал циником, чтобы от этого спастись. И я помню, что, когда пошли какие-то облегчения, уже можно было учителям говорить, что я не позволю своего ребёнка мучить тем да этим, в 80-е пошли свободы, я сказала, придя в школу, учительнице, что хорошо бы первым делом выкинуть все эти принудительные пения о радости погибнуть. И на меня, конечно, они посмотрели, как на врага, и какой-то отец, который пришёл со своим ребёнком, тоже на меня посмотрел, как на врага, и говорил, что это наша история, то-сё. Они не понимали историю созидания, что чего-то добились, что что-то построили. Нет — погибнуть. Русский человек любит погибнуть. Вот это навеивало этот мрак и негатив. А в общем это такая манипуляция сознанием, которая отчётливо происходила, как я теперь понимаю.

Дзядко: Тут много вопросов о том, было ли что-нибудь хорошее…

Толстая: Да всё было хорошо!

Дзядко: …в том смысле, что были ли какие-то вещи, за которые Вы в тот момент гордились страной?

Толстая: Страной — нет, никогда. Я люблю страну, понимаете. Это очень странно, и если эту мысль продумывать, то ответ на вопрос отодвигается всё дальше: если в ней всё так ужасно, чё ж ты её так любишь? Ну вот я её люблю, ну. Мне кажется, что она простёгана хорошими разными возможностями, несмотря на государственный кошмар, на то, что народ смотрит

на соседа мрачно, не любит его, не любит чужие успехи, не уважает личность ни в ком, идёт по головам. Несмотря на это, рядом с этим существуют замечательные люди, существует бескорыстие, существует жалость — к павшим, к согрешившим. От государства мы этого не видим, а от людей видим, и государство не может перевоспитать. Количество людей, которые охотно совершают зло и испытывают от этого радость, тоже поражает. Но ты никогда не один этим поражён — как не оглянешься, вокруг тебя много хороших людей, которые тоже поражены тем, что зло так нагло торжествует. И это всё перемешано невероятно: не смешиваются эти две вещи, как вода с маслом. Это поразительно. Юмор есть в нашем народе.

Дзядко: Расскажите любимый советский анекдот, к слову.

Толстая: Не соображу сейчас, может быть, потом вспомню. У меня очень плохая память на анекдоты, а ведь есть любимейшие. Нет, сходу не скажу. Не знаю, на какую тему, но скажу такую вещь. Какое самое великое произведение русской литературы? Первое не надо, вот самое основополагающее произведение, которое объясняет…

Дзядко: «Анна Каренина» или «Война и мир».

Толстая: Нет. Нет, не «Преступление и наказание». «Ревизор», конечно, вот там всё. «Мёртвые души» — это тоже «Ревизор», только это поэма, там всё пространно, а вот в краткой форме — это, конечно, «Ревизор». Там такие поразительные вещи сошлись. А самое поразительное — что вот уже 200 лет, а абсолютно ничего не изменилось. Соответственно, ситуацию с ревизором можно разбирать во все стороны и выбрать себе любую роль. Если ты попадаешь в ситуацию этого губернского города и видишь, что здесь происходит чёрт знает что, то у тебя есть единственный выход, чтобы оно тебя не съело и не поглотило — ты должен становиться ревизором. Это всегда выход из ситуации и всегда бывает немножко неудобно. Привожу пример, простой пример, может быть, у многих у самих есть опыт такого обращения. Еду с детьми на юг, в Одессу. Дикая жара. В вагоне нет простыней. Ну как без простыней на каких-то зассанных матрасах сутки спать, с детьми? Иду к проводнику: почему нет простыней? «Ну нет простыней и нет, поспите, женщина, без простыней». Я говорю: «Нет, женщина поспит на простынях, а Вы пойдёте и достанете. В сумму билета входит стоимость простыни и так далее». «Ничего не знаю, женщина, отвяжитесь». Говорю: «Мне сюда начальника поезда, быстро». И смотрю нехорошим взглядом. Что-то у него перещёлкнуло в голове, в глазах, думает: чё она так разговаривает? «Сейчас подойдёт к Вам начальник поезда». Подходит начальник поезда. Я ему говорю уже как

генерал генералу: «Понимаете, ситуация неловкая для Вас складывается. Я работник министерства железнодорожного транспорта, еду в отпуск. Похоже, что мой отпуск будет сильно испорчен этим неприятным инцидентом. Давайте подумаем, как сделать, чтобы я хорошо отдохнула и, вернувшись домой, не поставила это дело на контроль». *(Смех в зале, аплодисменты)* Тут же быстро прибежали, простыни принесли. Не знаю, где они их взяли, не знаю, из-под каких людей выдрали, но они их принесли. Я думаю: Николай Васильевич, спасибо!

А другой случай… Я даже не знала, сделаю ли я это, получится-не получится. Стою в очереди в сберкассу, свои 15 человек, советское время, район Медведково. Вокруг всё мрачно, стоят усталые женщины, медленно движется очередь, отвратительно медленно работает тётка-кассирша и на всех кричит. Кричит, но тем не менее они оплачивают. Уже ноги болят стоять. И тут я вижу, что на какую-то женщину она начинает особенно кричать. Прислушиваюсь. Она: «Чё Вы мне копейки свои суёте, чё я буду считать тут? Уходите, несите мне рубли нормальные, бумажные!» Та говорит: «Вы понимаете, у меня нет, так выдали на работе…» А действительно были случаи, когда выдавали мелочью зарплату. Я не знаю, почему — ну вот выдали и выдали. «Идите. Меняйте где хотите, не буду с Вами разговаривать!» Где она их поменяет, ей никто эти копейки на рубли не поменяет. И суки эти, бабы в очереди, которые тоже устали, у которых тоже ноги болят, тоже: «Женщина, идите отсюда, сказали Вам — не задерживайте!» Я думаю: Господи, несчастная баба! Меня бы сейчас так выгнали! Я свои полтора часа отстояла, а мне ещё покупать продукты, ещё к детям. И вот она стоит со своими несчастными копейками, сейчас её погонят. Я включаю и говорю: «Это кто тут нашу, советскую копейку отрицает?! Она с гербом нашего государства!» *(Аплодисменты)* Таким мерзким голосом сказала, партийным, и все смотрят на меня, как на сволочь. А я действительно сволочь — и у неё эти копейки, двушки, всё взяли. И она быстро ушла, на меня не оборачиваясь, потому что это же какой-то кошмар! *(Аплодисменты)*

Хороший вопрос: «Расскажите, пожалуйста, что у Вас осталось от того времени: одежда, техника, мебель, посуда?» Вот недавно совсем выкинула я купленный в 1975 году молоток для отбивания мяса. Я даже жалею, что я выкинула, но невозможно уже было. Я его выкинула, потому что он был сделан так: была ручка деревянная, и сверху на ручке гвоздём он был прибит. Я им всего несколько раз пользовалась, потому что в советское время не было много того мяса, которое стоило отбивать — больше делали

котлеты. Одежды, конечно, никакой нет, это невозможно. У меня другая одежда осталась. В своё время была такая интересная выставка нижнего белья. Она была в Питере, не знаю, была ли она в Москве. Там показывалось женское нижнее бельё — каждое десятилетие отличалось своим бельём. Самые страшные были, конечно, 50-е — 60-е: это такие байковые женские штаны до колена, вот тут резинка. Стыдно было в них вообще не то что появиться, даже мысль о том, что надето под одеждой… И меня поразило на этой выставке, что, оказывается, в 20-е годы в Советском Союзе производили очень красивое тонкое бельё. В частности, то, что потом стало называться комбинации — такие рубашечки батистовые, очень простые, две лямочки, белое полотно, а на груди обязательно кружавчиком вышитый треугольник, причём кружавчики какие-то натуральные. Мы с мамой ходили на эту выставку, и мама говорит: «Слушай, у меня такие остались». И когда мы вернулись домой, она из сундука достала. Ей было 12 лет, когда она носила эти рубашечки, и они у неё как-то сохранились. С 1929 года у меня остались три такие рубашечки, их даже надеть можно. Это совершенно музейные предметы, я их выстирала, отбелила и держу — не знаю, что с ними делать, потому что это совершеннейший музей. Прелестная вещь. Меня поразило. Мы ничего не знаем про те годы, когда мы не жили. Я не представляла, что в 20-е годы это могло существовать, купленное в России. А от моего детства — нет, не осталось.

Ну, мебель, конечно, осталась в нашей семье, но она не у меня, у нас много народа, и каждому что-то досталось. Посуда, конечно, просуществовала. Хорошая посуда мало билась, её доставали по праздникам, а плохая посуда как-то побилась и разошлась, её было не жалко. А техника — это уже тоже антиквариат. Боюсь, что у меня не осталось ничего. Из последнего был, но непонятно, куда делся, такой прибор для показа диапозитивов.

Дзядко: Проигрыватель.

Толстая: Нет, не проигрыватель, а как он назывался… Диаскоп.

Дзядко: А самиздат?

Толстая: Самиздат мы дома не держали, потому что боялись. Мы читали и быстро кому-то отправляли дальше. Фотокопии были, конечно, какие-то. Были какие-то люди, которые не боялись, была возможность взять. Но дело в том, что с самиздатом была хитрость. Ты не мог человека попросить дать тебе самиздат, а если человек предлагал тебе самиздат, то он был подозрительный. У нас у многих была паранойя, но у многих она

была совершенно обоснованная. То есть если ты как-то узнавал и тоже хотел почитать, то это была большая проблема. Вокруг нас были стукачи. Я знаю, кто у нас был стукач, и в дом к нам ходил стукач. Мне папа сказал, кто стукач, я спросила: так что ж ты его в дом пускаешь? Он ответил: «Так я знаю, что он стукач, а если я его удалю, кто-то ещё захочет со мной зазнакомиться». Это была серьёзная проблема. Но я об этом знаю меньше, чем другие, потому что люди об этом книги писали и своей жизнью и свободой рисковали, а мы не рисковали.

Дзядко: Несколько вопросов про самую читающую страну в мире.

Толстая: Это такое представление, что тогда читали очень много, а теперь читают очень мало? Хорошо. Это вопрос очень сложный. Во-первых, чтение как некое занятие для глаз сейчас тоже есть, просто оно переместилось на другие носители: не из книг это идёт, а из интернета, телевизора, компьютерных игр. Это первое. Второе: допустим, даже читали классику много, хороших авторов, классиков. Что из этого вычитывали? Этот же вопрос никто специально не задавал. Вот читает человек хоть ту же «Анну Каренину» — что у него остаётся в голове, он как это понимает? Существует узкий круг людей — я не знаю, сколько их, но сейчас ни одна хорошая книга тиражом больше, чем 3000 экземпляров, не выпускается, редко 4000 — предположительно, это тот круг, который читает сознательно, критично и понимает, что читает, это те, кто хочет приобрести книгу, потому что остальные находят способы почитать мимо бумажной книги. Но чувство художественного — не могу сказать, насколько все эти люди им отличались. У людей есть социальная потребность, информационная потребность, но чтобы у них была эстетическая потребность — я не знаю, я даже не знаю, как проводить этот опрос и получать от этого какой-то значимый результат. Социологи, которые могли бы эти вопросы задавать, как правило, не на этой поляне сидят. Они сидят на другой совершенно поляне: как узнать, как обсчитать, какой сделать вывод. Но они не могут быть носителями эстетического. Поэтому замерить это невозможно, или я не знаю, как это замерять.

Я в своём ЖЖ как-то спросила читателей — у меня же там предположительно 20 тысяч читателей, которые меня зафрендили. Там бывают такие, Пашки-какашки, зафрендят тебя — вряд ли это собеседник, вряд ли я буду с Пашкой-какашкой долгими зимними вечерами разговаривать. Но кто-то же есть. И вот я закинула невод: вы кто, кто читаете, какие у вас три любимых писателя, поэта? И народ стал отвечать. Много народа очень ответили. Я даже пыталась составить какой-то

портрет средний, но бросила это, потому что мне показалось, что я не вижу картину, которую читают люди, я вижу картину их ответов, как они считают нужным ответить. У них все поэты — Ахматова, Маяковский и Есенин. Чё-то я не верю. А художники — Дали, Моне, ну, Матисс. То есть такой бедный мир! Дальше импрессионистов они не знают.

Дзядко: А Вы бы как ответили на оба вопроса?

Толстая: Я не знаю. Я бы порушила шаблон, я бы не отвечала так вот — прямо три, я бы как-то с другой стороны зашла. Прямой ответ на прямо заданный вопрос — это тоже некоторый показатель. Я хочу сказать, что неизвестно, как люди читают, неизвестно, что они от этого берут. Поэтому эта самая читающая страна — это самая водящая глазами по строчкам, например. Научиться читать можно, если есть потребность, а кто мешает? Как говорил протопоп Аввакум про ангела, «нигде ему не загорожено». Дух веет, где хочет — меня никто не учил читать. Я хочу сказать, что ситуация не так выглядит, что в Советском Союзе все были наделены этим талантом, а потом вдруг раз — и он оскудел. Люди хотели чего-то, какого-то развлечения, не тупой конвейерной работы, а ещё чего-то. И одни читали, другие играли в шахматы, третьи мечтали, четвёртые смотрели телевизор. Сейчас телевизора стало больше, он довольно глуп и поверхностен, но есть люди, которые хотят, чтобы телевизор всё время их развлекал.

Из зала: Что Вы понимали и не понимали тогда?

Толстая: Я не могу ответить на этот вопрос. Да, да, ответьте.

Из зала: Я немножко позволю себе в бочку дёгтя подбросить ложечку хотя бы мёда. Всё было, безусловно, всё было. Но надо понимать, что было и то, и другое. И на целину мы ездили сами, никто нас не загонял, мы туда рвались, и втроём — я и две девочки — за четыре часа бросали лопаточками 20 тонн зерна. Всё это было. Что я конкретно хочу сказать по поводу того, что понимали. В девятом классе учитель русской литературы Земский дал нам задание. Он каждый раз давал нам список, и за год я прочитал 90 примерно книг. Причём имейте в виду: «Бруски», «Война и мир» 4 тома — это всё считалось за одну книгу, а брошюрочки просто не считались. Это не в Москве, это далеко в Ферганской долине, в городе Намангане. Из 43 человек нашего выпуска только 3 не поступили в самые престижные вузы Москвы. Когда я поступал в Военно-морское училище, нам давали 12 вариантов по три темы, и у меня обязательно хотя бы одно сочинение в каждом из вариантов было написано за последние три года.

Просто жили по-другому. И если говорить о страхах, культе

смерти, то я думаю, что сегодня в тысячу раз больше этот культ выливается на человека из одного даже телевизора. Везде разные школы, везде разные преподаватели, но мы читали, мы понимали. И я могу сказать так: я воспитывался улицей и книгами. Мы дрались, мы хулиганили, но было очень чётко: двое на одного — нет, лежачего не бьют и так далее. А что сегодня? Сегодня наоборот. Поэтому задача наша сегодня, как мне кажется, немножечко остановиться, взглянуть на себя со стороны и подумать: а в ту ли сторону мы идём, а что нам нужно, чтобы во всех случаях оставаться прежде всего человеком?

Дзядко: Спасибо.

Толстая: Тут много чего можно на это прекрасное выступление сказать, но я немного в сторону скажу. Есть такое понятие — сенсорная депривация. Придумали на Западе где-то. Вы приходите в помещение, Вас кладут в ванну с нейтральной температурой воды, полная темнота, какой-то солёный раствор, чтобы Ваше тело меньше чувствовало вес. Вы укладываетесь в эту ванную и час Вы проводите в полной темноте. Вот я всё мечтаю туда пойти, всё руки не доходят. Говорят, что минут через 20 совершенно изменяется восприятие мира: все чувства у Вас отключаются, только Ваш мозг, Ваша фантазия, подсознание вылезают. Всякие удивительные происходят с Вами вещи. Это не страшно, это открывает внутри Вас какие-то пути, Вы становитесь более креативными, как сейчас неприятно выражаются. Вот такой эксперимент надо каждому пройти — безобидные вещи, почему бы на себе не попробовать.

В советское время была сильная сенсорная депривация по многим направлениям. Вы говорите о книгах, которые люди читали — да, люди читали в Москве, когда достать могли, но в принципе хороших книг не было. Всякая дрянь была, была очень большая потребность в книгах хороших, но их нигде было не достать. Моя книжка первая вышла в 1987 году, и весь тираж (тираж был большой, там было 50 тысяч) отправили в среднеазиатские республики. Они там и осели. Так вот были специальные люди, которые ездили с колбасой в среднеазиатские республики, колбасу продавали, книги покупали, на этом спекулировали и жили. Мы оттуда сами доставали книги, которые все отправлялись туда, где их люди не читают. Достать книгу можно было только за большую цену, с наценкой, поэтому существовали спекулянты книжные. Ну да, в библиотеке: я представляю себе, как хорошие пионеры, пошли, сели в библиотеку читать. Хорошую книгу Вы не возьмёте в библиотеке — она уже взята. Существовала спекуляция, можно было жить по-бедному, с библиотекой, но хотелось книгу сейчас,

а не когда до тебя уже десятый до тебя прочитает.

Дзядко: У нас, к сожалению, заканчивается время. Есть ещё несколько вопросов, на которые мы успеваем ответить…

Толстая: Они все такие разные, я не знаю, стоит ли начинать на них отвечать.

Дзядко: На этот — стоит.

Толстая: «Нравится ли Вам жить в современной России? Где Вы хотели бы жить?» Нет, мне не нравится жить в современной России, но это не значит, что я хотела бы жить где-то в другом месте. Я 10 лет жила в Америке и предпочла там не жить.

Дзядко: Почему Вы вернулись?

Толстая: Мне там чужое всё. Там очень много вещей, которые лучше, чем здесь, но это чужая страна. Что я буду жить в чужой стране и разговаривать с чужими людьми на чужом языке? Мне здесь всё гораздо понятнее. А удобно или нравится мне жить здесь — нет, не очень удобно, нет, мне многое не нравится, но я среди своих, а там я не была среди своих. Буду ли я писать воспоминания о старших родных? Да, я пытаюсь с этим что-то сделать, может быть, из этого что-то получится. Одно дело — воспоминания, что ты сам помнишь, другое — это то, что надо восстанавливать по воспоминаниям третьих людей, потому что я совсем не всё помню. Я Лозинских вот совсем не помню, потому что они оба умерли, когда мне было 4 года.

«По каким вещам в СССР Вы скучаете больше всего?» Ни по каким. Нет, ну, пожалуй, я бы хотела, чтобы поливальные машины шли и поливали улицы, чтобы было чисто. Я совершенно не скучаю, потому что уже лет 600, наверное, в России, идёт дурак-дворник и сухой метлой, сделанной из обглоданной вербы, метёт окурки, плевки и прочий туберкулёзный прах, который поднимается вверх и забивает мне ноздри. Почему он метёт обглоданной метлой, когда уже есть десятки мини-приборов, и почему это должно быть посуху? Проще вообще ничего не делать. Это же он вред наносит — он поднимает в воздух то, что должно осесть. Это антисанитарно, в конце концов.

Дзядко: Здесь вопрос о том, что разными были советские чиновники.

Толстая: Позитивный пример чиновника? Что вы! У меня свёкр был, он не был чиновником, но был совершенно замечательным человеком — генералом, и он отличался резко от всего генералитета в несколько интересных сторон. Например, он никогда не покупал ничего в распределителях, потому что ему было западло. И детям не давал. Дети, конечно, возмущались, а он не давал: нечего. Человек прошёл всю войну, он не такой, не кабинетный. Он отказывался писать открытки своему начальнику

к 8 марта и 23 февраля, говорил: начальник меня не устраивает, я не буду его поздравлять, это всё фальшь и ложь. У него не было своей машины, у него была официальная машина, и только когда у меня родились маленькие дети, он начал, скрепя сердце, её давать, чтобы я их не тащила куда-то на метро. И каждый раз видно было, что он тяжело переживает, что он пользуется машиной этой официальной, служебной. Больше никто не переживал, а он переживал. Шофёр должен был, пока генерал на работе, стоять в гараже, но он ездил по Москве — бомбил, подвозил народ. Мы это узнали, потому что он однажды случайно нас подвёз. Наш генерал — единственный, кому это не нравилось. Самое смешное: у него не было ничего-ничего-ничего, в частности, у него не было дачи. На него на службе написали донос, который заключался в том, что он свою дачу построил из ворованных материалов, а дачи-то не было. Это был в чистом виде конструкт: раз генерал, значит, дача, раз дача, значит, материалы, раз материалы, значит, ворованные. Он был человек кристально честный и позитивный. Ему очень не нравилась ситуация в стране.

«Вас не устраивала ситуация в жилищной сфере?» Конечно, меня не устраивала ситуация в жилищной сфере! «Что, на Ваш взгляд, произошло позитивного в этой сфере после 1991 года? Появление бездомных, гибель пенсионеров, отсутствие возможности получить жильё, перманентный рост тарифов ЖКХ?» Здесь, как всегда,смешиваются две вещи: одно — это экономические законы и экономический строй, который может не пропускать никакое живое движение, это называется социализм, особенно советского образца. Это даже не социализм, а тот строй, который у нас назывался «социализм». А строй, который у нас сейчас установился, вроде капиталистический, он никакое движение экономически не удушает, но, наложенные на невероятное, фантастическое воровство и полную беззаконность, он даёт ужасный результат, который мы все видим. Что касается появления бездомных, гибели пенсионеров и так далее, давайте не будем это приписывать теперешнему строю. Сюда мы припишем бесконтрольный рост тарифов ЖКХ, безусловно, массовое воровство чиновников всех уровней, 50%-ные откаты. Но то, что касается бомжей и пенсионеров начала 90-х, это ничей строй. Это ужасное время, которое могло, может быть, сложиться иначе, но не сложилось, когда тот ужасный советский строй переламывался в то, что мы имеем сейчас — относительное благополучие по большим городам, всё-таки какой-то рост. Я вообще удивляюсь, что это благополучие есть, могло быть гораздо хуже. Когда пытаются имеющимся персоналиям приписать

бандитизм начала 90-х… Эти бандиты — это советские дети, пионеры, все те, которых любители Советского Союза хотят считать вихрастыми, солнечноглазыми и милыми мальчишками. Вот из них выросли бандиты. Они выросли не из тех, которые сейчас, а из тех, которые тогда, которые пели песню про орлёнка, про какого-то погибшего комиссара, из ужасных советских лет. Только 90-е начались — вот они, пожалуйста. Поэтому валить всё в одну кучу… Это естественный процесс, понимаете. *(Аплодисменты)*

Дзядко: Давайте ещё вопросы. «Кто придумал 60-е»?

Толстая: «Кто придумал 60-е такими, какими их знаем мы (молодёжь)?» Есть версия, что это Геннадий Шпаликов и фильм «Я шагаю по Москве». Это к вопросу о том, что читать и что понимать. Я не знаю, что вы понимаете под 60-ми, я не могу сказать, что надо понимать под 60-ми. Я не могу сформулировать образ 60-х, потому что он в фильме «Я шагаю по Москве» не формулируется, хотя он какую-то атмосферу отражает очень хорошо. Шпаликов — гениальный сценарист, совсем прекрасный. Но можно было делать другие картины и другие образы. Я бы не сказала, что это был образ 60-х, я так о фильме «Я шагаю по Москве» не думала. Он просто прекрасный. Он о молодости, он о Москве, он о свободе какой-то, о молодости, когда ещё ничего непонятно, всё ещё впереди — «Над лодкой белый парус распушу, ещё не знаю, с кем». Это про свободу, молодость и обещания — это не про 60-е. Но если 60-е — это свобода, молодость и обещания, то тогда да. Понимаете, в 70-е был невозможен такой фильм, потому что 70-е ощущались как душная комната, где окна и двери закрыты, и ничего хорошего не будет, хорошего фильма уже не покажут. Там не было ощущения молодости и свободы. А в 80-е, в конце 80-х это снова появилось. Это было страшно весёлое время, когда у кого-то молодость, может быть, уже и ушла, но обещания были. То, что они не состоялись — никакие обещания не состоялись, но то, что они у нас были — это совершенно замечательно, и надо судьбе и Господу Богу быть за это благодарным. И даже Михаилу Сергеевичу Горбачёву, хотя он всё делал, чтобы это остановить. Но не вышло — всё это выпустилось, и свобода была прекрасна.

Дзядко: А какими, как Вам кажется, могут быть 2010-е?

Толстая: Эти 10-е? Будет интересно. Мне кажется, застойными они не будут. Посмотрите на основную тенденцию последнего года: люди хотят, чтобы с ними считались как с личностями. Достоинство личности вдруг стало котироваться, пускай сначала в очень небольших кругах, но по всей стране.

Дзядко: Это совок уходит или что это? Это вообще имеет

отношение ко всему нашему разговору?

Толстая: Нет, не в этом дело. Вот попытка установить всеобщее счастье и свободу (а всякая революция, перемена, всякий переворот, в общем, про это, всегда такая идея за этим стоит: вот теперь мы все будем дружные, счастливые, свободные, справедливые, трудиться рука об руку и хохотать после работы) — вот этот порыв всегда должен быть. Человеку должно быть 17 лет один раз в жизни. Это потом он будет харкать, плевать и шаркать ногами, забывать с утра волосы расчесать, а в молодости всё совершенно прекрасно. Так вот, не вышло ни из одного переворота ничего хорошего, но сейчас, похоже, такие идут времена, когда люди стали понимать, что никакие наши действия немедленного счастья и справедливости не обещают. Потому что в 91-м году правда образ такой был: всё, мы победили, Ельцин на танке, теперь всё будет прекрасно, заплачем же и обнимемся. Не заплачем и не обнимемся, но есть какой-то уровень, ниже которого мы уже падать не хотим. Мы начали осознавать наше внутреннее достоинство. Мы не быдло, нас уже нельзя гнать стадами. Вот появилось это осознание — пусть это в каждом городе делает несколько человек.

Дзядко: В 91-м были другие ощущения.

Толстая: Да. Я не знаю, как выглядела революция 1917 года, я думаю, что она выглядела ужасно, а некоторые говорят, что и не заметили её, пошёл в театр, вернулся — а уже вот. Мы не знаем, как это было, нам потом её описывали, но вот этот образ — сбросили старый строй наконец, ура, все теперь свободны (ну, Февральскую возьмите, тогда народ больше был возбуждён), казалось: всё, царство рухнуло, мы свободны, ура, товарищи, демократия. Это всё в 91-м году тоже было. А сейчас никакой демократии, товарищи, нет, но сквозь эту недемократию и чудовищное отсутствие законности в людях прорастает какое-то самоуважение и готовность уважать личность в другом человеке. Это вообще нечасто в России бывает, нечасто. И то, что сейчас есть возможность настаивать на такой позиции, мне кажется, очень важно. Вся астраханская история, которая сейчас происходит, не знаю, чем там дело кончится, не дай Бог, там кто-то умрёт, но мне кажется, это ещё одна стадия попытки отстоять человеческое достоинство. Уже так издеваться над здравым смыслом многие не хотят позволить.

Дзядко: Спасибо, я думаю, что на этом можно заканчивать.

Толстая: Всем спасибо большое! Было, конечно, очень много вопросов интересных, мне жаль, что я не имела на них возможности ответить. На всё не ответишь, спасибо всем, кто потрудился задать вопросы. А на вопрос, люблю ли я миноги —

нет, я не люблю миноги. Я люблю угря копчёного.